



АНДРЕЙ УБОГИЙ

ОДОЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Из египетских впечатлений

I

Что влечет нас в Египет? За полтора последних десятилетия на берегах Нила и Красного моря побывали уже миллионы русских – Египет давно конкурирует в этом смысле с родными нам Крымом или Кавказом.

Может, нас манит пляжная нега и еще непривычная большинству русских роскошь интернациональных отелей, где мы себя чувствуем господами – после трудовой жизни где-нибудь в Вологде или Калуге?

Или нас привлекает кормежка со “шведских” столов, когда можно, как со сказочной скатерти-самобранки, брать в ресторане отеля что хочешь и сколько хочешь – а выбор такой, что глаза разбегаются? Поначалу это обилие и разнообразие пищи просто-напросто оглушает – особенно русских. Что ж, все понятно: нам-то сладко и досыта не всегда удавалось поесть.

Я уж молчу о напитках. Разливанное море спиртного, в котором купаешься здесь, – куда опаснее Красного моря с его акулами, скатами и муренами.

Или русские едут в Египет, чтобы встретиться с древним искусством: полюбоваться на сфинксов, на пирамиды, на храмы Луксора и на скульптуры в Каирском музее? Конечно, и эти мотивы отвергнуть нельзя – в туристических толпах Карнака и Гизы чаще всех прочих, после английской, звучит именно русская речь – но одна только тяга к прекрасному едва ли способна подвигнуть на странствия миллионы людей.

Зато несомненно, что, кроме мотивов поверхностных и очевидных, любое массовое явление движут еще потайные, не сразу заметные глазу, пружины. Мы, может, и сами не осознаем, что влечет нас в далекую эту страну, “страну тайны”, как переводится слово “Египет” с греческого.

Возможно, один из глубинных мотивов египетских наших поездок – стремление почувствовать время, желанье коснуться одной из важнейших загадок и тайн бытия, соблазн ощутить иллюзорность того, что само разрушает иллюзии жизни.

Можно сказать: вся история и культура Египта – все эти семь тысяч лет, оставивших неизгладимый след в человеческой цивилизации, – есть история одоления времени, есть великий и никогда более не повторявшийся – с такой мощью, с таким грандиозным размахом! – опыт по борьбе со временем. Ни один из народов, ни одна из великих культур человечества не познакомились со временем глубже, чем это сделал Египет – хотя бы в силу самой протяженности небывалого этого эксперимента.

II

Оказавшись в Египте, в Восточной пустыне, лежащей меж Нилом и берегом Красного моря, начинаешь воспринимать время, как некий материальный объект – то, что можно пощупать или пересыпать из ладони в ладонь. Потому что песок есть не только важнейший из символов времени – может стать, песок есть само воплощенное время, как таковое. Уж если “пространство–материя–время” едины (а современная физика учит нас именно этому) – то должны же быть некие области их взаимного перехода. И египетский мелкий песок, что скрипит на зубах, засыпает дороги и пологими серо-желтыми волнами стелется до горизонта, – возможно, и есть та промежуточная субстанция, через которую вещество перетекает во время? Вот был некий материальный объект: скала или дом – но со временем он неизбежно крошится в песок, растекается волнами серой пустыни. Вот песок превращается в пыль – в ней, несущейся и вездесущей, материального еще меньше, – затем пыль подхватывает ветер, а ветер есть как бы уже само время...

Созерцая барханы песка, ощущаешь и двойственность времени. Здесь, в пустыне, где все состоит из песка, из его серо-желтых, слоющихся волн, расплескавшихся до горизонта, – ощущение времени вдруг пропадает. Там, где нет перемен – нет и времени; а пустынный пейзаж есть, пожалуй, один из самых неподвижных пейзажей на свете. И время как бы исчезает из нашего восприятия.

Так бывает с рекою, разлившейся перед запрудой. Небольшой ручеек или речка несутся стремительно, их жизнь полна перемен и событий, и, глядя на бурный поток, не однажды подумаешь: как летит время! Когда же река разливается вширь, когда масса воды необъятно огромна – то движенье реки прекращается, и тогда останавливается само время разлившейся перед плотинной реки.

Египет – “дар Нила” – готов предложить нам еще и такой образ времени: время в виде реки. Встав на луксорском мосту через Нил и посмотрев в дымку юга, в сторону Асуана, а потом обернувшись на север, к Каиру, и видя, как ярко белеют на солнце косые паруса рыбацких фелюг, чувствуешь: время в Египте движется так же, как течет Нил – мощно, медленно, сонно...

Можно сказать, что Египет, помимо всех тех музеев, куда ходят толпы туристов, предлагает всем еще один музей, рассредоточенный по всей своей территории: музей обличей времени. Кроме песчаных или каменистых пустынь, где время как будто застыло, кроме Нила, чьи теплые воды текут в некоей дреме – а берега и все, что на них, словно сняты с священной реке, – кроме ветра, который качает метелки чешуйчатых пальм и несет вихри пыли, Египет являет еще один образ времени: мусор. Как скала под воздействием ветра и солнца крошится в песок, растворяясь во времени – так и людская непрочная жизнь осыпается мусором, этим пестрым песком человеческих дел.

Египетский мусор – его здесь немало! – не раздражает, в отличие от родного калужского, – а, скорее, наводит на мысли о бренности, о скоротечности жизни: о том, например, что вот именно мусор оказывается самой долговечной составляющей человеческого существования. “На суету и смерти нет”, – говорит нам народная мудрость. “Да, мусор – вечен”, – думаешь в тон замечательной этой поговорке.

Египетский мусор бывает еще и красив. В дни сильного ветра в безоблачном небе Хургады летают красные или оранжевые пластиковые пакеты – и вид этих ярких, порхающих в синеве лоскутов всегда притягивает взгляд. Сидишь себе, куришь кальян где-нибудь в down-town – в “падшем городе”, если переводить буквально, – галдят и жестикулируют местные жители, завсегда таи мусорной этой кофейни, а над всеми над нами, в синеющей ветреной щели между рядами домов парит, куврыкается, словно пара оранжевых птиц – или, может быть, ангелов? – пара ярких пакетов... Удивительно, до чего этот аэромусор к лицу арабскому городу – с его чадом и гамом, с гуденьем клаксонов и ревом ослов, со всей этой южной, растрепанной ветром, жарой.

Этот реющий мусор к лицу вообще афро-арабскому миру, такому изношенно-ветхому, пыльному, древнему – и одновременно юному и возбужденному, словно шалый подросток.

Словом, вряд ли найдется на свете другая страна, где время стремилось бы так представиться нам в своих разных обличьях: затем, может быть, чтобы мы оценили великий – вот именно, что египетский! – труд преодоления времени.

III

Мы едем в Каир, к пирамидам. Дорога длинна, но смотреть в окно автобуса не надоедает: снаружи пустыня – и Красное море. Смотришь, как море то отдаляется, то приближается к серой ленте дороги – вон рыбацкие сети торчат из воды, вон белеет вдали катерок, – а думаешь, большей частью, снова о времени. Например, мы так привыкли измерять пространство временем и наоборот, что почти этого и не замечаем. Далеко ли, спрашиваем, Каир? Водитель-араб отвечает: “Eight hours” – “восемь часов”, – и нам не кажется странным его, весьма странный, ответ. И наоборот, когда мы отмеряем отрезки времени движением стрелки часов, то есть, по сути, пространством, которое покрывает, вращаясь, стрелка – мы тоже не замечаем несообразности измерения временного процесса единицами совершенно иного порядка. Получается, мы знали о единстве пространства и времени куда раньше, чем об этом нам сообщили ученые физики.

Путь до Каира кажется много короче, чем казался бы восьмичасовой долгий путь у нас в России. Дороги здесь лучше, пейзажи однообразнее: времени словно не остается возможности сделать отметки, зарубки на ровном, однообразном пространстве. В пустыне нечему происходить – и время скользит так же быстро, как скользят за окном желтовато-слоистые гряды песка. Видишь, как ветер несет-завивает песчаную пыль, и возникает порой ощущение, что ты тоже скользишь внутри неких песочных часов, в потоке пустынного – то ли заснувшего, то ли быстро летящего? – времени. Вот только неясно: когда ты проскочишь сужение этих часов – когда для тебя остановится время?

Пока же твое время движется – и сокращается, час за часом, пространство, отделяющее нас от пирамид. Вот из барханов песка выросли пригороды Каира, вот сквозь пыльную мглу свечами встают минареты великого города, а вдали, на холме, возвышается Цитадель – и вот нас уже понесло-закрутило не в прежних, песочно-пустынных, часах, а в часах мегаполиса. Здесь сыплются в некое, нам неизвестное, устье сотни тысяч газующих, пыльных машин и миллионы крикливых и смуглых, всегда возбужденных людей.

Каир – это, как говорится, отдельная песня. Будь место и время, я непременно бы написал и о кладбищах старого города – тех, где, буквально на мусульманских могилах, живут, варят пищу, рожают детей ни много, ни мало, а шесть миллионов(!) каирцев, которым нечем платить за жилье, – написал бы о египетских женщинах в черных перчатках, черных платках, черных траурных платьях – но с поразительно яркими и смеющимися глазами! – написал бы еще о Каирском музее, о том, как тень Бунина (посетившего этот музей ровно сто лет назад) словно бродила там вместе с нами, рассматривая коллекцию скарабеев из ляпис-лазури и деревянную статую “сельского старосты”, взгляд которого не потускнел за пять тысяч лет...

Я бы с радостью вспомнил все это – Каир поражает своей самобытностью и пестротой, своим жизненным диким напором, собранием древностей и обилием юных, смеющихся лиц – но я боюсь заплутать в отступлениях и позабыть о том главном, о чем взялся писать: о египетском опыте по одолению времени.

Итак, пирамиды. Издалека они подобны миражу. Первый раз видишь их за домами Каира, на заднике городского пейзажа, и они кажутся чем-то бутфорским, почти нереальным. Гораздо реальнее шумная улица, щиты ярких реклам, чад оголтелых машин – гораздо реальнее тот поток мегаполиса, в котором несется и наш, затерявшийся среди прочих, автобус.

Потом пирамиды пропадают из глаз. Автобус петляет по улицам и переулкам, вдруг останавливается, мы выходим, гид проводит нас через пост автоматчиков – “tourist police”, главный род войск в Египте, – и неожиданно, подняв взор, видишь прямо перед собой желтовато-шершавую, уходящую в небо, громаду...

...С чем сравнить это чувство? Как будто ты приготовился слушать оркестр, не спеша насладиться изысканной музыкой, а этот оркестр взял да грянул с предельною силой, сразу на всех инструментах – и оглушил тебя нечеловеческим ревом!

Нечто подобное – оглушенность сверхчеловеческою мощью – приходит и в первые пять-шесть секунд созерцания пирамиды Хеопса. Дольше выдержать трудно – чудится, что заслонившая небо громада уже надвигается, давит и вот-вот расплющит тебя – поэтому, опустив глаза, начинаешь рассматривать

то, что вокруг пирамиды. До горизонта, на север и на восток – Каир в пыльной солнечной мгле; на запад – пустыня. Оттуда, с песчаных холмов, летят вихри пыли. Песок начинает скрипеть на зубах. Взнесенные ветром, взлетают цветные пакеты, но им не подняться даже по пояс Большой пирамиде. Похоже, она здесь довлеет над всеми и вся: даже ветер, несущий пакеты, не в силах взобраться по каменным грубым ступеням – к вершине.

У подножия – шумно, ветрено, пыльно и жарко. Рыдают верблюды – во век не забыть их восторженно-плачущий рев, напоминающий крик муэдзина! – и голосят, зазывая туристов, торговцы сувенирами.

Пирамида по-прежнему давит. Конечно, ты взглядом нет-нет да окинешь ее, но почему-то делаешь это исподтишка, как-то вскользь: может быть, потому, что боишься не выдержать взгляда прямого? Прямой взгляд – всегда некий вызов; а всякий ли может сказать, что он готов бросить вызов Большой пирамиде?

Чувствуешь: нужен образ, метафора, нужно то, что позволит смотреть на нее, не теряя себя самого. Ходишь, мотая чумной от жары головой – и неожиданно образ приходит. Думаешь: “Если пыль, песок, ветер представляют собой что-то вроде раствора плывущего времени – то три больших пирамиды, с их гранями и острями, являются как бы кристаллами времени...”

И вот только теперь, укрепленный метафорой, ты можешь спокойно, без внутренней паники, осмотреть пирамиды. Вот, значит, какое оно, это первое из семи чудес света... Вот, значит, как выглядит эта попытка приказать времени: “Остановись!” Ибо именно этим, борьбу со временем, и озабочены были создатели пирамид. Иначе и не возникло бы знаменитой пословицы, на которой основана, в сущности, вся египетская цивилизация: “Все в мире боится времени – но само время боится пирамид”.

Строители Древнего Царства пытались одолеть время в открытом бою. Они год за годом и десятилетие за десятилетием вытесывали и громоздили друг на друга каменные блоки (их в пирамиде Хеопса около двух миллионов) – чтобы в результате сложить тот магический четырехгранный кристалл, в котором время окажется заточенным, как узник в темнице.

Им почти удалась грандиозная эта попытка. Можно представить, как внутри пирамиды, там, где хранилась и утварь Хеопса, и мощи его, и две погребальные лодки – как там, внутри, время остановилось и пребывало в неподвижности тысячи лет. Ибо какие могли быть там перемены – в крошечной тьме, в неподвижности, в герметически запертой камере, над которой, оберегая и мощи, и вещи Хеопса от времени, высился этот космический четырехгранник?

Возможно, что время действительно было напугано появлением пирамид – будем верить пословице, – но теперь-то нам видно, что оно сумело оправиться от испуга. У него, времени – времени много... И главным его орудием стали именно люди – такие же люди, как те, что пытались его одолеть. Вход, пробитый грабителями внутрь пирамиды, напоминает рану, нанесенную копьем великана, – похоже, что именно этот удар и открыл заточенному времени выход наружу или, наоборот, впустил силы времени внутрь пирамиды.

Потому что теперь-то, при самом поверхностном взгляде, мы видим: пирамиды проигрывают схватку со временем. Где гранитная белая облицовка, отливавшая некогда розовым на восходе и на закате солнца? Откуда упали те блоки, которых так много насыпано вокруг пирамиды Хефрена? Еще удивительно, что при таких колоссальных потерях на теле больших пирамид почти что не видно изъянов.

Так что можно сказать: пирамиды – кристаллы окаменевшего времени – начали вновь растворяться, становясь песком, пылью, ветром – и застывшее, оцепенелое время стало вновь превращаться во что-то текучее, неуловимое...

IV

Вот нас снова сажают в автобус, везут, и мы скоро подходим к громадному льву с безмятежно-спокойным, немного насмешливым женским лицом.

Странно, что арабы называли Большого Сфинкса “отцом ужаса”. Скорее уж, это отец созерцания и покоя: ужасного нет ничего в безмятежно-спокойном лице.

Чему он улыбается? Нам ли, толпящимся где-то внизу, задирающим головы и беспрестанно щелкающим фотоаппаратами? Тем ли французским солдатам, которые – вот дикари! – палили ядрами в этот загадочный лик? Вот, кстати, признак великого: даже обезображенное, лицо Сфинкса остается непостижимо-прекрасным, полным гармонии, тайны и силы.

Лик Сфинкса полон не просто загадки, но именно тайны: он задает нам вопрос, на который не требуется ответа – ибо само созерцание, само ощущение тайны обогащает и радует душу.

Пустынные голуби любят сидеть-отдыхать на его, Сфинкса, темени. Взлетая, кружась и опять возвращаясь, птицы создают как бы некий венок, которым сама скоротечная жизнь увенчала творенье великого, нам неизвестного, мастера.

Искусство – еще один способ бороться со временем. Недаром художников в древнем Египте называли “творящие жизнь”. А творить жизнь – это и значит бороться со временем, смертью, сражаться с той темной, безликою силой, которая и превращает всех нас, таких разных – в могильную персть, в уносимую ветрами пыль. . .

Но об искусстве Египта скажем чуть ниже. Пока же мы с вами стоим рядом со Сфинксом – давайте еще поглядим на этот спокойно-улыбчивый лик, на который, как кажется, можно смотреть бесконечно. Чувствуешь: как ему, Сфинксу, не скучно, хотя он и лежит здесь уже пять тысяч лет – так и тебе никогда не наскучит смотреть на это прекрасное, женственное лицо.

Сфинкс спокойно, уверенно сопротивляется времени. Легенда гласит, что он некогда был совершенно засыпан песками пустыни – казалось, время уже поглотило его, одержало над Сфинксом победу, – но какой-то, заснувший поблизости, фараон услышал стон, доносившийся из-под песка: “Освободи!”. Большой Сфинкс был раскопан и снова взглянул на людей отрешенно-таинственным взглядом.

Главное даже не в том, сохранится ли каменный Сфинкс под ударами времени – наверное, тысячи лет одолеют, в конце концов, Сфинкса, и великая эта скульптура рассыплется в пыль, – дело в том, что образ его будет жить с нами, пока живет человечество. Сам лик Сфинкса, сам его образ есть творение, времени неподвластное: однажды увиденный взглядом художника – он уже никогда не вернется в ничто, в до-бытийную мглу. . .

Искусство, как путь одоления времени, высоко почиталось в Египте. И нас до сих пор поражает: как, при такой достоверности живописных портретов или скульптур, лица, изображенные древнеегипетскими мастерами, уже пребывают как будто бы в вечности?

“Вычитание времени” – вот формула и египетского искусства, и всей вообще культуры Египта. Египтяне стремились выделить и сохранить нечто прочно-нетленное, то, над чем время не властно. Мумификация умерших – вот наглядный пример “вычитания времени”.

Посмотрите в лицо какого-нибудь изваяния Древнего Царства – например, знаменитой статуи писца. С одной стороны, мы видим лицо совершенно конкретное и характерное – повстречай мы живого писца на улицах Гизы, мы бы тотчас узнали его, – но, с другой стороны, сразу чувствуешь: писец так внимательно ловит не просто слова господина, который что-то диктует ему; нет, он внимательно, всем существом осязает и слушает – вечность.

И вечность, как в зеркале, отражается во внимательном взгляде, в ироничной, почти незаметной, улыбке, во всем положении тела, такого статичного и вместе с тем легкого, затаившего некий порыв. Совсем не чувствуешь времени, отделяющего нас – от почти что живой, почти теплой скульптуры. Но ведь с тех пор, как ее изваяли, – прошли тысячи лет!

Основа культуры Египта – папирусы: тоже предмет символический, связанный с вечностью. Как рассказывают мастера многочисленных папирусных фабрик, именно этот вид тростника был избран для производства бумаги как раз потому, что его стебель в сечении трехгранен – а трехгранник, как и пирамида, для египтян символизировал вечность. Разрезая, прессуя папирус, затем склеивая из его полосок листы желтоватой, на удивление прочной бумаги, египтяне производили нечто вроде мумификации тростника.

А уж когда на папирус ложились еще иероглифы, то есть символы, выражающие нетленную сущность вещей и явлений, – то папирус с написанным текстом становился бессрочным хранилищем жизни. Что, в самом деле, ос-

танется, что сохранится – даже после того, как рассыплется в прах пирамида? Останутся тексты, слова: то, что названо словом, уже как бы прописано – в вечности. . .

V

Потерпев поражение в прямой, лобовой схватке со временем – или, точнее сказать, догадавшись, что поражение в этом бою неизбежно, – древние египтяне сменили тактику. От строительства пирамид они перешли к партизанской, подпольной войне. Могильники Нового Царства, пещерные склепы Долины Царей – вот что пришло пирамидам на смену.

Спрятаться и обмануть само время – а значит, и смерть – вот чем был занят в течение многих веков весь Египет. Едва успевали похоронить одного фараона и замуровать его, в камне вырубленный, могильник – как пора было строить подземный дворец для другого царя. Вся энергия и все таланты народа уходили на это вгрызание в камень, на строительство как бы окопов, в которых хотя бы цари должны были скрыться от натиска времени.

Мумию прятали в каменный саркофаг, а на стенах гробницы писали священные тексты: подсказки душе фараона о том, как надо держаться на загробном суде, что и как отвечать строгим судьям – и, главное, как обмануть этих судей. “Книга мертвых”, священная книга Египта на протяжении тысячелетий, даже советовала выдавать себя за кого-нибудь из богов. “Ты, мол, кто?” – спросят судьи. А фараон им ответит: “Я – бог Тот!”. “Да ну?!” – удивится судейский синклит. “Да, я бог Тот, – упрямо твердит подсудимый. – А не верите, вызывайте свидетелей, тоже богов: ну, к примеру, Анубиса или Изиду. . .” Судьи чешут в затылках и мнутя: а стоит ли беспокоить богов по такому пустяшному поводу? – и, глядишь, принимают решение в пользу упрямо стоящего на своем фараона. . .

Поразительно, что наивная ложь была возведена в некий принцип – причем лгать предлагалось в тот самый момент, когда уж, казалось бы, душу спасет только чистая правда. Или мы, удаленные на тысячелетия, чего-то не понимаем в похоронной культуре Египта и текстах священной египетской книги – или стремление слукавить, схитрить, обмануть само время и смерть так внедрилось в сознание египтян?

Долина Царей – это самое грандиозное кладбище в мире. Кругом нагие, песочного цвета, холмы, над ними поблекшее знойное небо, а в толще холмов, под ногами туристов скрыт целый город – десятки ходов, коридоров, колодцев и каменных залов, – в котором, по замыслу тех, кто его создавал, должна была жить сама вечность. Ветер времени должен был дуть где-то там, наверху – а здесь, в толще скал, все должно было оцепенеть в совершенной неподвижности, тьме, тишине. Египетские жрецы пытались построить в могильниках мир, из которого вычли важнейшую из составляющих: время. Может быть, потому так и душно, так тяжело внутри этих каменных нор, что там, кроме воздуха, нам не хватает движения и перемен – то есть именно времени?

Причем время исчезло не только из каменных склепов, чьи стены покрыты узорами иероглифов – время как будто исчезло и из наземного мира Долины Царей. Наверху, на холмах буроватого известняка, не растет ни былинки, а на бледном от зноя египетском небе не видишь ни облачка: в здешнем пейзаже нет ничего, что могло бы меняться, шуршать-шелестеть, наплывать или таять – нет ничего, что могло бы тебе указать на движение времени. “Вот уж действительно, – думаешь, – кладбище. . . И до чего же оно непохоже на кладбища наши: на те, где кресты да оградки, где буйно растет сирень и шиповник, где птицы снуют и щебечут в кустах, – где жизни и времени, кажется, так избыточно-много, что даже покойник, лежащий в могиле, и тот ощущает, как движутся время и жизнь. . .”

Вдруг стало так тесно, так душно в Долине Царей – день и вправду был тяжело, мучительно душен, – что я, оторвавшись от группы, начал поспешно взбираться на холм по крутой, осыпавшейся под ногами тропе. Хотелось подняться туда, где будет просторнее, ветреней – где, может быть, я сумею опять ощутить, как очнулось и двинулось время.

Но порыв был напрасным. Крошево камня хрустело в ногах, с лица падал пот, дыхание было загнанно-хриплым – но в мертвом пейзаже вокруг ничего

не менялось. Нагие, песчаные волны холмов расстилались под бледным, безжизненным небом. Я подумал, что вряд ли где в мире есть столь же пустынный и мертвый пейзаж.

И еще я подумал, что нам ведь желанна не всякая вечность. Такая вот, мертвая, чей безжизненный образ представлен в Долине Царей – не радует душу. Нам, мечтающим жить после смерти – а такие мечты, пусть и в самой зачаточной форме, есть в душе каждого, – нам хочется, чтобы мы оказались в живой, полноценной и радостной вечности. Нам хочется, чтобы мы после смерти были именно живы – а не просто, как блоха в янтаре или как фараонова мумия в склепе, остались в недвижимом, отринувшем время пространстве. Уж лучше стать пылью, песком – чем попасть в неподвижную, мертвую вечность...

VI

Кроме прямой схватки со временем, когда в бой, так сказать, шли пирамиды, и кроме попыток укрыться от времени в каменных норах Долины Царей, Египет нам предложил – и демонстрирует до сих пор – еще один способ борьбы с беспощадным, извечным врагом человека.

Способ этот, конечно же, всечеловеческий – но в Египте он явлен особенно ярко. Рождение новых и новых детей, непрерывная цепь поколений, которая протянулась от предков к потомкам, повторяемость в детях, в их нраве и облике, черт их отцов-матерей – все это не позволяет времени одержать над нами полную и окончательную победу.

Назовем этот способ “фаллическая атака”. И вспомним Розанова – знаменитого русского мудреца и египтофила. Жаль, что Василий Васильевич Розанов так и не побывал в Египте, в стране, чью культуру, религию, жизнь он так пылко любил. С какой радостью он увидел бы здесь изобилие символов, наводящих мысли на излюбленную Розановым тему: на тему о фаллосе, как оси, на которой вращается жизнь.

Розанов был бы в восторге. Он бы немедленно сел за “огненную”, как он выражался, статью – потому что древнее искусство откровенно подтверждает его излюбленную мысль: человек есть, в каком-то смысле, придаток к собственному фаллосу...

Философ не обошел бы вниманием и минареты. И вряд ли бы он побоялся оскорбить мусульманские чувства, увидев нечто фаллическое в этих башнях, нацеленных в небо. В минаретах мы чувствуем мощь вождения, тягу к иному, нежели то, чем живем мы на этой земле...

Но не нужно быть Розановым, чтобы почувствовать тонус египетской жизни. Семья, имеющая семь-восемь детей, считается, по египетским меркам, маленькой; нормальная, полноценная семья – это пятнадцать детей. Ежегодный прирост населения в этой стране – миллион человек! В городах, в современных кварталах, почти не увидишь домов, имеющих крышу: здесь каждый взрослеющий сын надстраивает свой этаж над родителями и старшими братьями – дома поэтому, как и вся страна в целом, непрерывно растут, упорно тянутся вверх. И порою на крышах, там, где еще даже не выросли стены, уже стоят стулья, кровати, полощутся на ветру разноцветные тряпки – то есть жизнь обгоняет растущее следом за нею жилище.

А шесть миллионов каирцев, живущих буквально на кладбищах – разве это не говорит о могучем, безудержном натиске жизни? А толпы арабов, которые вдруг, в пять секунд, возникают на улице, что-то кричат – а потом, с той же скоростью, вдруг исчезают? Жизнь арабской толпы горяча и напориста: кажется, эти смуглые люди живут в состоянии непрерывной эрекции.

Что ж, это тоже способ бороться со временем. Только народу, как и отдельному человеку, для этого нужно быть молодым и горячим. И удивительно, как египтяне, имеющие за плечами семь тысяч лет цивилизации, смогли сохранить столько жизненных сил?

Но такой способ борьбы спасает от натиска времени не отдельного человека, а род. Личность, напротив, растрачивается и иссякает – когда ее силы направлены, главным образом, на физическое размножение.

Конечно, если вслед за “франкфуртским отшельником” Шопенгауэром отдавать пальму первенства роду, а не отдельному человеку, если именно род

считать основной человеческой единицей – тогда, разумеется, можно считать, что рождение новых и новых детей делает человеческий род защищенным от смертоносного действия времени. Проблема смерти и времени тогда разрешается так, как и вообще в природе: особи смертны, а род, состоящий из них, бесконечен.

Но, как ни приноси себя в жертву роду, семье, как ни пытайся найти утешение в том, что после тебя будут жить твои дети и внуки – твое личное бытие все равно остается трагичным и, так сказать, неразрешенным. Если сам, для себя не решишь этот главный вопрос – для чего живешь лично ты, в чем смысл твоей личной жизни? – то как раз и подводишь тем самым любимых детей и пока не родившихся внуков. Ибо ты обрекаешь их на такую же, бессмысленную с точки зрения личности, гонку в беличьем родовом колесе...

VII

И все-таки больше всего поражают в Египте не пирамиды, не склепы Долины Царей – поражает то, что жизнь людей, населяющих берега Нила, почти не изменилась за семь тысяч лет.

Зной, каналы, поля... Вдоль дороги и вдоль каналов, с их буровато-зеленоватой водой – хижинки из необожженного кирпича. Крыш либо нет вообще (дождей здесь почти не бывает), либо кровля сделана из тростника, главного строительного и горючего материала нильской долины. Это вроде соломы в наших южнорусских степях: она и топливо, и стройматериал, да еще и корм для скотины.

В окно автобуса видишь то же самое, что видели и фараоны, проезжая здесь на колесницах тысячи лет назад. Вон ослик тянет тележку, заваленную тростником, – а крестьянин-феллах идет рядом в выгоревшей, хлопающей на ветру галабее*. Вон рыбаки, сидя на корточках в утлом челне, выбирают сеть из бурой воды канала, где кишмя кишит рыба. Вон полуголый подросток, поднимая и опуская деревянный журавль, переливает кожаным ведром воду из канала на поле: так же, наверное, и его прапрапредок черпал ведром воду и жмурился, глядя на бледное, яростно гнущее солнце.

Вон трое феллахов размеренно машут мотыгами: рыхлят землю под новый посев кукурузы, пшеницы или свеклы. Растет здесь практически все – кроме разве морозики да клюквы – и крестьяне собирают по три урожая в год. Зато и трудиться приходится, как муравьям: непрерывно, усердно, не разгибая спины.

И крестьянину, в сущности, дела нет до того, какое сейчас, выражаясь словами поэта, “тысячелетие на дворе”: четвертое до нашей эры – или третье после? Руки все так же болят от тяжелой, кромсающей землю мотыги, солнце все так же жжет спину – и так же рыдает-ревет возле дома голодный осел...

Как ни пытаешься высмотреть черты современности – их почти не находишь. Наш автобус, по пути в Луксор и обратно, ехал по нильской долине четыре часа – и за все это время мы видели один-единственный трактор, боронивший сухое, пылящее поле. Но этот единственный трактор вполне можно вычестить, как нечто случайное и нехарактерное – и, в остатке египетских впечатлений, отложится именно то, над чем время не властно. Остаются каналы, поля, зной и солнце, остаются ревущие ослики и худые верблюды с горбом набекрень и с брезгливо отвисшею нижней губой, остаются ветхие хижинки под тростником – нищета долговечней, чем роскошь, – и, главное, остаются феллахи с мотыгами, вечно рыхлящие вечную землю...

И ведь не скажешь, что люди, живущие вот такой неизменной жизнью – унылы, подавлены, тупо покорны судьбе. Напротив: все те, в чьи глаза успеваешь взглянуть, выражение чьих лиц уловить – несомненно, счастливые люди. В их глазах светится радость и жизнь – и, во всяком-то случае, этой жизни и радости больше, чем в глазах людей где-нибудь в московском метро.

И не скажешь, с другой стороны, что жизнь нильских крестьян примитивна, что из нее неспособны родиться высокие ценности духа. Разве живопись, зодчество и скульптура Египта – то, что доселе вызывает всеобщий вос-

* Рубаха до пят, национальная египетская одежда.

торг, — разве это все выросло не из жизни феллахов? Кто, как не эти крестьяне, кормил и поддерживал жизни творцов, создававших великую цивилизацию — и кто, как не они, рождал из своей же среды этих самых творцов?

Так зачем же, подумаешь, совершалась, в таких содроганьях и муках, вся история человечества? Зачем были эти все Александры в пернатых шлемах и Наполеоны в треуголках, зачем реяли флаги и звали в бой трубы, зачем возникали все эти империи, строились замки и разрушались Бастилии, зачем миллионы людей клали жизни на то, чтобы жизнь изменить — когда все равно, в неизменном и вечном остатке, остается все то же, что было сначала: земля, вода, солнце — и руки крестьян, неустанно мотыжащих землю?

Пожалуй, из впечатлений Египта дороже всех именно это: неизменность того настоящего, чем живет человек. Над истинным, над настоящим время не властно: недаром и слово само — “настоящее” — означает еще и отсутствие времени, некий зазор между прошлым и будущим.

Значит, еще и вот так люди спорят со временем. Можно жить так, чтобы воды истории текли как бы мимо тебя, жить таким неизменным укладом, в который само вездесущее время — непрошенный гость! — не сможет внести перемены.

В этом, по сути, и есть главная цель консерваторов, тех, кто борется за неизменный строй жизни. Ибо консерватизм, как бы ни насмехались над ним примитивные прогрессисты, есть героическая попытка остановить само время, и перед величием — и, увы, обреченностью — этой попытки нельзя не склонить головы.

VIII

Когда для исцеления от какой-либо болезни предлагается много различных рецептов и способов — болезнь, скорее всего, неизлечима.

Так и со временем. Когда мы, люди, пытаемся разными способами его одолеть, и упорные эти попытки длятся на протяжении всей истории человечества — то надо признать, что болезнь под названием “время” пока что не очень-то поддается лечению.

Особенно это чувствуешь, когда живешь в интернациональном курортном отеле — вроде отеля “Shedwan”, что в Хургаде. Здесь, среди старческих, по преимуществу, лиц европейцев начинаешь отчетливо чувствовать, что время не только неумолимо движется, но что оно неизбежно приводит к износу, дряхлению даже не просто отдельных людей — а целых народов.

Отель, вроде нашего — это дом престарелых. И дело даже не в том, что здесь много людей пожилого и старого возраста; дело в том, что и молодые, казалось бы, люди — производят здесь впечатление старцев. Нет, они могут быть загорелы и даже подтянуты (хоть это редкость среди европейцев), лица их могут быть свежи и зубы белы, аппетиты отменны — несметные горы еды поглощаются в ресторанах, где “все включено”, — но и речи, и жесты, и взгляды людей европейской культуры говорят об одном: это все старики...

Например, все здесь только и думают, что о комфорте. Но ведь комфорт, окружающий постояльцев курортных отелей, — что-то вроде тех старческих валенок или душегреек, в которые кутаются старики, когда тепло собственной угасающей жизни уже не способно согреть их тела. Комфорт становится нужен, когда нас, постаревших, пугает любое назойливо-яркое проявление жизни: жара или холод, усталость или громкие звуки. Это в юности все равно, на чем спать и какой едой утолить молодой волчий голод; а к старости нам нужна и постелька помягче, и пища послаще, и чтоб никакой лишней шум не тревожил наш сон.

Когда Сфинкс предлагал отгадать свою знаменитую загадку — “Кто утром ходит на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех?” — он, помимо разных возрастов отдельного человека, возможно, имел в виду и возрасты целых народов. До сих пор есть народы, которые, образно выражаясь, “бегают на четвереньках” — им еще расти и расти, если только Запад, так заботящийся о демократии и о правах человека, не поможет им умереть во младенчестве, — есть народы, пока что твердо стоящие на своих ногах, — и есть народы, которым, по старческой немощи их, уже нужны “третьи ноги”, подпорки.

Комфорт, которым стремятся себя окружить европейцы, и есть эта самая “третья нога”. Средний европеец, каким его видишь и представляешь, уже,

как кажется, и не выживет без компьютера и кондиционера, без косметики и без лекарств, без услуг службы сервиса, без подсказок реклам и газет – он не сможет жить сам по себе.

Разумеется, я понимаю: нужны оговорки. Понятно, что люди приехали в этот отель отдыхать, предаваться безделью и неге, что где-то там, далеко, в своих Лондонах или Берлинах они, может быть, проявляют такие чудеса трудолюбия, терпения и предприимчивости, какие и не снились, к примеру, арабам. Я понимаю, что надо судить о народе, как и о человеке, не по его недостаткам и слабостям (они есть у каждого), а по его достоинствам и по заслугам – а заслуги Европы перед человечеством неоспоримы. Но ничего нельзя сделать с непосредственным, множество раз подтверждавшимся, впечатлением: Европа непоправимо состарилась.

На этом дряхлеющем фоне даже мы, русские, кажемся нацией молодой. В нас еще есть тот кураж, тот запас жизненных сил – часто, правда, дурных, бестолковых, – перед которым пасуют, теряются “старые” европейцы.

Не забуду стычки с немцами в аэропорту Хургады. Ночь, духота, давка перед окошком паспортного контроля – египетские чиновники работают вяло, как сонные мухи, – и молодые, мордастые немцы, раздраженные тем, что кто-то из русских, пользуясь отсутствием строгой очереди, протиснулся вперед них, – что-то раздраженно залопотали. Стоявшие рядом расслышали: “Шайзе!” – то бишь “Дерьмо!”. И толпа напряглась: что-то будет?

Вдруг кто-то из наших – спокойный толстяк с уголовным, скорей всего, прошлым (татуировка синела на жирном плече), – обернулся к возмущенным немцам, поднял над толпой указательный палец, слегка им погрозил и негромко сказал всего одно слово:

– Сталинград!

Невероятно, но немцы – как будто исчезли! Нет, они продолжали стоять рядом с нами в толпе, продолжали пыхтеть и потеть – но они втянули головы в плечи, и по их растерявшимся лицам прокатилась волна совершенно особого, генного страха: того, что живет в родовой, бессознательной памяти целых народов...

Но это так, к слову. В отеле “Shedwan”, где мы жили, конфликтов ни с немцами, ни с иными народами не было: всем с избытком хватало комфорта, еды, лежаков и навесов на пляжах. Хотя кто только не жил в этом интернациональном отеле: и поляки, и русские, и французы, и англичане, и немцы. Не раз приходил на память другой интернациональный отель, “Берггоф”, описанный Томасом Манном в романе “Волшебная гора”. Тем более что это роман даже не столько о европейцах – хотя обобщенный портрет предвоенной Европы получился у Манна блестяще, – сколько роман о времени, о его причудах и каверзах, о той колдовской и загадочной власти, которую время имеет над человеком. И мои впечатления от наблюдений за здешним укладом, и мысли о времени – были похожи на те, что наполняли роман Томаса Манна, написанный век назад. Только не туберкулезом болело большинство постояльцев отеля – а старостью.

Да, “волшебной горой”, горой Броукен, можно было назвать и вот этот нас приютивший отель. Ощущение нереальности, чувство непрерывно свершавшегося колдовства не оставляло все дни пребывания здесь. И, как ни ласкал нас здешний комфорт, в глубине души тлела тревога: как будто за это за все – за обильные трапезы и за угодливость здешней obsługi, за роскошь гостиничных холлов, за холю и негу, которой нас здесь окружили, – мы заплатили не просто деньгами, а заплатили какою-то частью собственных душ. И чувство, что это не мы купили весь этот комплекс услуг, а, напротив, купили нас, предложив нам комфорт в обмен за нечто иное – свободу и молодость? независимость от обстоятельств? презрение к роскоши? – это чувство, похожее на угрызение совести, не оставляло на протяжении всей курортной недели.

И со временем здесь тоже что-то случилось. Оно стало как-то отслаиваться, отделяться от нас – существуя как будто само по себе. Вот сидишь на веранде после морского купания, попиваешь беспопылинный “Джонни Уокер” и чувствуешь, как ты выпал из времени, перестал ощущать его ход, оказался как будто в осадке, на дне – а поток времени течет где-то вне и помимо тебя...

Это странное чувство – что ты отделился от времени, и оно течет мимо – чувство даже приятное, но, увы, говорящее нам, как же мы постарели. Ведь

сама жизнь – ее тонус, напор, ее поступательный ход невозможны вне времени. Когда человек еще молод и жизни в нем много, он как раз весь наполнен живым ощущением времени, он целиком погружен в тот поток, что несет его от истока – к пока что далекому устью.

А у нас, постаревших – и время иное. С одной стороны, оно тянется медленно, вязко – у старика перемен в жизни меньше, чем у ребенка, – но, с другой стороны, в этом вязком и заторможенно-вялом течении постаревшее время вдруг совершает гигантские и леденящие душу скачки. Р-раз! – и уже подросли твои дети; р-раз! – и ты уже пенсионер...

Похоже, что время все-таки нас обмануло – несмотря на упорные наши попытки перехитрить, одолеть, одурачить его. Сколько мы ни пытаемся справиться со временем – вот уже семь тысяч лет обозримой истории люди воюют с ним разными способами, – все равно мы ветшаем и старимся, потом все равно умираем – и с каждой, наступающей нас, неизбежною смертью время одерживает над нами очередную победу.

IX

Но, к счастью, пока мы живые, никакое впечатление не окончательно. Все и не отель – этот старческий рай, приют обветшалой Европы – стал итоговим впечатлением от поездки в Египет. Итог был иным, неожиданно светлым и радостным: Пасха у коптов.

Так уж совпало, что последнюю ночь, проведенной на африканской земле, стала Святая ночь – и богослужение в коптском храме Хургады свело воедино все доселе разрозненные египетские впечатления.

Копты – древнейший народ, берущий начало еще в фараонском Египте. Считается, именно копты – наследники древнего языка египтян, и коптская речь звучит именно так, как звучал человеческий голос на берегах Нила семь тысяч лет назад.

Отрадно и важно, что копты – православные христиане. Их в Египте не так уж и мало: восемь процентов. Еще евангелист Марк, в первом веке, принес Слово веры Христовой на берега Нила, и Египет тогда, на заре христианства, стал, в сущности, первой христианской страной.

Народов с такой богатейшей и древней историей найдется немного. И древний Египет, и эллинский мир, и первоначальное христианство, затем мусульманство, духом которого невозможно было не напитаться, живя в исламской стране, – опыт всех этих цивилизаций вошел в совокупный духовный опыт древнейшего в мире народа. Но нам сейчас важно именно то, что копты, пронесшие эстафету культур от древнейших времен до сегодняшних дней – именно копты имеют такой опыт общенья со временем, такой опыт разнообразных попыток его одолеть, с каким вряд ли сравнится опыт любого другого народа. И героическая атака на время, оставившая нам гигантские кристаллы пирамид, и попытки укрыться от времени в склепах-пещерах Долины Царей, и искусство Египта, с его неизменной формулой – “вычитание времени”, и фаллический мощный напор, когда времени противостоит животворящая сила не отдельного человека, а рода, – все эти способы копты имели, и даже имеют донныне, в своем, так сказать, арсенале. И то, что народ, столько знающий о характере времени, о его беспощадности и самодурстве, сейчас, спустя семь тысяч лет обозримой истории, празднует Пасху – есть факт отраднейший, наиважнейший.

Коптский храм невелик, окружен невысокой оградой из блоков песчаника – а у каждой из башенок этой ограды стоит вооруженный солдат. Спросишь его: “От кого защищаете храм?” – и солдат, на комической смеси русского и английского, будет пытаться тебе объяснить, что христиане и мусульмане – друзья, но что евреи, враги тех и других, хотят арабов и коптов поссорить, и от них, от евреев, всегда можно ждать провокации – особенно в Пасху. “Так здесь же, в Египте, евреев практически нет”, – возразишь автоматчику. На что он, засмеявшись, ответит: “Вы, русские, мало знаете. Евреи и американцы – везде...”

И на площади перед храмом, и в церковном дворе – многолюдно и шумно. Говор, смех, треск петард, которые смуглые шустрые дети то и дело кидают под ноги, – это всё производит впечатление шумного и развесёлого

карнавала. Из раскрытых дверей храма тянет ладаном, с улицы порохов, и эти два запаха — ладан и порох — создают фон коптской Пасхи.

В храме яблоку негде упасть, и все обливались бы потом — если бы не вентиляторы, с тихим жужжаньем гоняющие над головами воздух. Храм приземист, широк; прихожане не стоят, как у нас, а сидят на скамьях меж колоннами. Всю Страстную неделю колонны были обернуты черными траурными поясами; сегодня — одеты в празднично-белое.

Прихожане строго разделены: женщины справа, мужчины слева. Первое, на что обращаешь внимание: вольность, раскованность поведения в храме. Женщины — очень красивые, яркие, кареглазые, смуглолицые и белозубые — все, как одна, простоволосы. Многие — с грудными детьми на руках. Дети постарше снуют меж скамей и колонн, лузгают семечки, грызут картофельные чипсы, смеются, толкаются — у нас даже в школе, на перемене, дети не ведут себя так свободно. Болтают, смеются и женщины: можно подумать, что они пришли не на службу, а просто затем, чтобы встретиться да посудачить с соседками.

Но ни оживленный гул голосов, ни жужжание вентиляторов, ни шарканье сотен подошв не заглушают общей молитвы. Через головы трудно увидеть, что совершается в алтаре — зато на колоннах есть телеэкраны с прямою трансляцией службы. Видно, как бородатый священник распевает псалмы. Переливы его молитвы, звучащей на древнеегипетском языке, я не отличил бы от плача арабского муэдзина на минарете. Видимо, при обращении к Богу интонации всех языков одинаковы, и все люди, в сущности, просят Творца об одном: о бессмертии — то есть об одолении времени...

Я различал в горловых переливах молитвы всего лишь одно, мне знакомое, слово: “Аллилуйя!”. И я крестился, когда его слышал: крестился по-русски размашисто, вызывая улыбки и удивленные взгляды соседей. Потому что здесь крестятся по-иному: ногтем большого пальца правой руки как бы рисуют маленький крестик над сердцем и подносят палец к губам. Все это выглядит как-то застенчиво и торопливо — и я, в свой черед, улыбался, когда видел эти крестные знамения.

Близилась полночь, но никто не готовился к крестному ходу: хоть и вера одна, но традиции все же иные. Вот на электронных настенных часах засветилось четыре нуля — время на миг как бы кончилось, чтобы начаться сначала, — и служба зазвучал палочкой о металлический треугольник. Этот оркестровый треугольник был заменой привычных нам колоколов: что-то детское и одновременно древнее было в этом позвякивании.

Затем священник начал кропить прихожан водой. Собравшиеся вскочили и потянули вверх руки, чтоб брызги воды с метелки священника попали им на ладонь — и те, кому повезло, с радостным возгласом отирали ладонью лицо, а затем целовали свою окропленную руку.

Этим служба и кончилась. Уже в четверть первого храм опустел — но в церковном дворе и на площади было по-прежнему многолюдно. Смех и веселые крики раздавались со всех сторон. То и дело трещали, взрывались петарды: если б не общий и радостный смех, можно было подумать, что идет перестрелка. Вообще всю живую и теплую ночь наполняло пьянящее чувство победы, которую все сообща одержали над общим и грозным врагом. Электричества здесь не жалели, ярко горели гирлянды, витрины и фонари — хорошо было видно, как радостно-молоды лица людей и как оживленно сияют их взгляды.

А над шумною улицей, в синем бархатном небе, горели огромные звезды. “Уж этим-то звездам о времени точно известно побольше, чем нам”, — думал я, пробираясь в смеющейся, шумной толпе. Даже здесь, в толчее, где тебя поминутно толкали, было как-то уютно, спокойно, и многолюдье не только не раздражало, как это бывает обычно, — а, напротив, радовало и утешало. Затертый в толпу одного из древнейших народов планеты, я ощущал, как же юн этот древний народ: словно тысячи лет, что он прожил, нисколько его не состарили и не утомили. Словно и не было за плечами у коптов ни фараонов, ни Александра Великого, ни Клеопатры с ее диким кличем: “Скажите, кто меж вами купит ценою жизни ночь мою?!” — не было исламского полководца Амру, основавшего город Каир на месте разрушенного Нового Вавилона, не было солдат Бонапарта, стрелявших по Сфинксу, — словно и не было всех тех людей и событий, из которых и состоит история человечества. Казалось, что

все начинается заново – вот прямо сейчас, в этой теплой, наполненной жизнью и радостью ночи...

Переполненный смесью усталости и неожиданной бодрости – такую же странную смесь, как древность и юность египетских коптов – я выбрался в полупустой переулок и побрел в сторону моря, к отелю. Витрины горели, жаровни шкворчали, и двери всех лавочек были открыты: ночной город казался еще оживленной дневного.

– Эй, земляк! – вдруг услышал я оклик.

Оглянулся. Веселый араб, неизвестно как догадавшийся, что я русский, зазывал меня выпить чашечку кофе.

– Нет, друг, спасибо: от вашего кофе до утра не заснешь, – попытался я смягчить свой отказ. – Слушай, а почему ты назвал меня земляком?

– А у меня мама – русская! – захохотал смуглый парень. – Мы все, в конце концов, земляки.

– Да, это верно. Ну, будь здоров!

– Будь здоров!

И я пошел дальше, под огромными и дружелюбно мерцавшими звездами. То казалось, что я немыслимо стар и живу уже тысячи лет – раз я знаю и чувствую древность, как что-то живое, – то, в то же самое время, казалось, что я только-только родился и в первый раз вижу звездное небо, оранжево-дынную дольку ущербного месяца над минаретом – что мир в первый раз предстает предо мной и что он в первый раз задает мне вопросы, на которые я, всю свою предстоящую жизнь, должен буду пытаться ответить...